

184 УДЕРЖИВАЯ МОЛЧАНИЕ: ОЧЕРКИ О ПРИСУТСТВИИ

Метафизика удержания



Максим Привезенцев

Максим Привезенцев

**Удерживая молчание:
очерки о присутствии.
Метафизика удержания**

«Издательские решения»

Привезенцев М.

Удерживая молчание: очерки о присутствии. Метафизика удержания / М. Привезенцев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-695402-1

Философская монография о метафизике удержания как альтернативе метафизике присутствия. Анализирует четыре кризиса: усталость врача, беженца, функционера, информационную перегрузку. Реальность структурирована через воздержание, память и открытость вопросов. Восходит к апофатике, диалектике, феноменологии. Приложения к травме, биополитике, войне, искусству, утопии.

ISBN 978-5-00-695402-1

© Привезенцев М.
© Издательские решения

Содержание

Удерживая молчание: очерки о присутствии	6
ЧАСТЬ I. ПРОБЛЕМА: КРАХ МЕТАФИЗИКИ ПРИСУТСТВИЯ	9
Глава 1. Усталость от сострадания: когда тело отключает эмпатию	9
Глава 2. Голая жизнь: существование без политической формы	15
Глава 3. Complicity: онтология соучастия	21
Глава 4. Избыточное присутствие и truth fatigue	27
ЧАСТЬ II. КОНЦЕПТ: МЕТАФИЗИКА УДЕРЖАНИЯ	32
Глава 5. Три измерения удержания	32
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Удерживая молчание: очерки о присутствии Метафизика удержания

Максим Привезенцев

© Максим Привезенцев, 2026

ISBN 978-5-0069-5402-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Удерживая молчание: очерки о присутствии

Максим Привезенцев

ПРОЛОГ. МИР, КОТОРЫЙ БОЛЬШЕ НЕ МОЖЕТ МОЛЧАТЬ

«Facebook и Instagram* (соцсети, принадлежащие компании Meta**, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ)»*

1. Сцена: врач, который больше не плачет

Десятый пациент за смену. Мужчина, пятидесяти трёх лет, дыхательная недостаточность четвёртой стадии. Отёк лёгких. Врач видит это не в первый раз – видит в двадцатый, сотый, тысячный раз. Он назначает протокол: кислород, мочегонные, сердечные гликозиды. Записывает в карточку. Переходит к следующей койке.

Лицо врача спокойно. Руки не дрожат. Голос ровный. Нет сострадания в выражении лица, но и нет жестокости. Есть что-то третье – состояние, которое сложно назвать. Он видит человека, который умирает, и продолжает работать так, как будто это просто часть профессии. Потому что это и есть часть профессии. И вот в этом молчании, в этом отключении эмоционального отклика, зарождается первый вопрос книги.

Это был врач ковидного отделения, апрель 2020 года. Но история воспроизводится каждый день, в разных больницах, разными людьми. Журналист, снимающий войну десять лет, смотрит на экран через объектив, не через глаза. Волонтёр в лагере беженцев слышит истории насилия и одиночества и перестаёт реагировать, потому что реагировать означает разрушиться. Психотерапевт слушает рассказ о детской травме в пятьдесят третий раз на этой неделе и сохраняет лицо профессионального внимания, хотя внутри что-то давно отключилось.

Мы ожидаем от врача, что он будет плакать. Мораль говорит нам: если видишь страдание, должен чувствовать его эмоционально. Если не чувствуешь – значит, жестокий, чёрствый, потерял человечность. Но реальность сложнее. Врач не потерял человечность. Его организм включил механизм защиты. В условиях непрерывного, невыносимого присутствия смерти – это не порок, это выживание. Вот здесь, в этом парадоксе, начинается наша книга.

2. Три кризиса XXI века: усталость, голая жизнь, соучастие

Врач перестал плакать. Это первый кризис – кризис чувства, истощение способности сострадать.

Но одновременно в мире происходит второе. Беженец прибывает в лагерь и обнаруживает, что он больше не имеет имени – только номер. Его жизнь существует в правовом промежутке: не включена полностью в систему защиты, но и не полностью исключена из неё. Он биологически жив, но политически мёртв. Философ назовёт это *bare life* – голой жизнью, существованием без защиты государства, без прав, без статуса. Это второй кризис – онтологический кризис того, что значит быть человеком в мире, где жизнь может быть редуцирована только к биологическому существованию.

И третий кризис, может быть, самый молчаливый. Человек открывает новостную ленту. Читает о войне. О голоде. О пытках. И листает дальше. Он не отвращается в ужасе. Он просто переходит к следующему видео, следующему скандалу, следующему кризису. Его молчание не активное – он не выбирает молчать, он просто не может больше реагировать. И где-то в этом точном месте молчание превращается в соучастие. Это третий кризис – кризис ответственности в мире, где информация о зле непрерывна и неотвратима.

Три кризиса, три молчания. Молчание врача, молчание беженца, молчание зрителя. Они звучат по-разному, но все они говорят об одном: в нашем мире что-то произошло с присутствием. Мир слишком присутствует. Смерть, страдание, информация – всё это теперь всегда включено, всегда видимо, всегда там. И это избыток присутствия парадоксальным образом создаёт новое отсутствие.

3. Гипотеза книги: от метафизики присутствия к метафизике удержания

На протяжении двух тысяч лет западная философия строила себя на основе одной идеи: бытие – это присутствие. Истина – это явленность. Я существую, так как я здесь, так как я мыслю, потому что я вижу. Метафизика присутствия учила нас, что чем больше мы знаем, чем больше видим, чем полнее мы присутствуем в мире – тем лучше. Прозрачность, явленность, присутствие считались благом.

Но XXI век показал нам, что эта метафизика больше не работает. Избыток присутствия разрушает. Полная явленность травмирует. Непрерывное знание о зле парализует. И вот в этой щели между старой метафизикой и новой реальностью возникает вопрос.

Может ли быть иной способ существования, иной способ мышления? Может ли молчание быть не дефицитом, а формой активного удержания? Может ли то, что скрыто, быть не меньшей частью реальности, чем то, что явлено? Может ли просто быть – не значит ни полностью являться, ни полностью отсутствовать?

Эта книга предлагает переход. От метафизики присутствия к метафизике удержания.

Удержание – это не молчание. Молчание может быть одной формой удержания, но удержание – это больше. Это активное воздержание от полного действия, чтобы позволить чему-то существовать. Это сохранение памяти в теле, в культуре, в архиве, когда сознание уже не может помнить. Это способность держать вопрос открытым, не закрывая его преждевременным ответом. Это практика держать напряжение между противоположностями, вместо того чтобы поспешно их разрешить.

Врач, который молчит, может быть либо функционером, либо тем, кто удерживает. Разница в том, активно ли он держит это молчание или он просто отключился. Беженец в лагере существует в промежутке – и этот промежуток, это странное место между включением и исключением, может быть прочитан не как дефект системы, а как фундаментальная онтологическая структура. Зритель, который листает новости, может начать удерживать своё внимание иначе – не подавляя информацию и не поддаваясь ей полностью, а держа себя в активном, болезненном, но сознательном напряжении.

Это и есть метафизика удержания.

Но прежде чем мы сможем говорить об удержании, нам нужно увидеть, почему метафизика присутствия терпит крах. Нам нужно понять три кризиса глубже. Нам нужно признать, что усталость врача, существование беженца и молчание зрителя – это не индивидуальные проблемы и не просто этические вопросы. Это онтологические кризисы. Они говорят нам о структуре самого мира.

И в этом переходе от кризиса к его новому пониманию – в движении от вопроса «почему?» к вопросу «как мы могли бы по-другому существовать?» – начинается наша работа.

Первая часть этой книги будет диагностикой. Мы подробно рассмотрим три кризиса: усталость от сострадания, голую жизнь и молчание как соучастие. Мы будем говорить о врачах, беженцах, журналистах и волонтерах. О том, что экономика внимания делает с нашим сознанием. О том, как информация, которая должна была нас пробудить, вместо этого усыпляет.

Затем мы перейдём к концептуальной работе. Мы введём три измерения удержания. Мы будем говорить о промежутке – о *das Zwischen*, том странном пространстве, которое одновременно ничто и всё. Мы встанем перед сложным вопросом: существует ли такой способ суще-

ствования, который не требует полного присутствия и полного отсутствия, но остаётся в напряжённом балансе между ними?

После этого мы посмотрим назад – в историю идей. Мы увидим, что метафизика удержания не является новой выдумкой. Она спала в апофатическом богословии, в диалектике, в феноменологии. Философы уже думали об удержании, хотя они не всегда это называли так.

И наконец, мы вернёмся к миру. Мы посмотрим, как удержание работает в травме, в биополитике, в цифровой войне, в повседневных отношениях между людьми.

Но эта работа не даст вам ответов. Она не скажет вам, как быть врачом, который плачет и одновременно продолжает работать. Она не решит проблему беженца. Она не научит вас правильно реагировать на ленту новостей. Это не практическое руководство.

Это приглашение к другому способу мышления. К способу, который остаётся в напряжении между желанием действовать и необходимостью ждать. Между необходимостью помнить и возможностью продолжить жить. Между ответственностью говорить и смирением молчать.

Мир, который больше не может молчать, нуждается в новом понимании молчания. Это понимание – наша задача.

ЧАСТЬ I. ПРОБЛЕМА: КРАХ МЕТАФИЗИКИ ПРИСУТСТВИЯ

Глава 1. Усталость от сострадания: когда тело отключает эмпатию

Compassion fatigue: клиническое описание и онтологический статус

Второй вторник апреля 2020 года. Интенсивное отделение больницы в Нью-Йорке. Врач зовут Элизабет, ей сорок семь лет, она работает пульмонологом двадцать три года. В этот день она делает обход. Заходит в первую палату. Пациент, который три дня назад мог дышать самостоятельно, теперь на искусственной вентиляции лёгких. Его жена звонила каждый час. Сегодня звонить перестала. Элизабет записывает показатели кислорода, оксидов азота, внутривенозного давления. Выходит. Во второй палате – сатурация упала на два пункта. Протокол прост: увеличить концентрацию кислорода. В третьей – мужчина, который вчера попрощался с семьёй по видеосвязи. Сегодня утром его пульс стал нитевидным. Элизабет знает, что это означает. Она знает, что у этого человека остаётся четыре-шесть часов. Она записывает это в карточку и переходит к четвёртому пациенту.

Её лицо спокойно. Руки не дрожат. Голос ровный, почти механический. Когда молодой интерн спрашивает её после обхода – как она справляется эмоционально, как она не сходит с ума – Элизабет молчит секунду и отвечает: «Я перестала это чувствовать примерно на тридцатый пациент. Может быть, раньше. Не помню». Она говорит это без горечи, без отчаяния. Она говорит это как факт. «Если я буду чувствовать, я не смогу работать. Организм выбирает правильно».

Что произошло с Элизабет? В психологии и медицине это явление называют *compassion fatigue* – усталостью от сострадания. Определение есть в справочниках: это состояние эмоционального и физического истощения, возникающее у людей помогающих профессий (врачей, медсестёр, психотерапевтов, социальных работников) в результате постоянной экспозиции чужому страданию. Организм, постоянно находящийся в режиме эмпатического отклика, в какой-то момент отключает этот отклик как механизм защиты. Врач перестаёт чувствовать боль пациента – не потому что стал жестче или циничнее, а потому что самосохранение требует этого отключения.

Но если остановиться на клиническом определении, мы упустим самое важное. *Compassion fatigue* – это не просто психологический дефицит. Это онтологический кризис.

Представьте: метафизика присутствия говорит нам, что истинное существование означает полное, искреннее присутствие перед другим. Морально чуткий человек – это тот, кто видит страдание и реагирует на него. Эмпатия считается добродетелью. Сочувствие – это признак живого сердца. Но что происходит, когда присутствие становится невыносимо? Когда полное, честное присутствие перед чужим страданием буквально убивает способность продолжать работать? Когда нравственность требует действия, но действие требует отключения нравственности?

Элизабет находится в ловушке, которую западная метафизика не предусмотрела. Она не может одновременно:

- быть полностью присутствующей (видеть каждого пациента как человека),
- оставаться нравственным агентом (реагировать сочувственно),
- продолжать работать (спасать следующего пациента).

Организм решает эту задачу единственным возможным способом: он отключает второе условие. Элизабет остаётся присутствующей физически и действует морально (через медицинские протоколы), но отключает эмпатический отклик. Сочувствие выходит из системы. И в этот момент она сталкивается с чем-то, для чего нет названия в традиционной моральной философии. Это не жестокость, это не равнодушие, это не цинизм. Это удержание. Элизабет удерживает боль, чтобы иметь возможность действовать.

Но это слово – удержание – появится позже. Сначала нужно признать, насколько глубоко идёт этот кризис.

Врачи, журналисты, волонтёры: три сцены истощения

Вторая сцена. Город. Журналист снимает войну уже несколько месяцев. Ранее, когда только начались обстрелы, он рассказывал об ужасе с дрожью в голосе. Каждое видео было для него эмоциональным событием. Смерти людей потрясали его. Разрушение домов заставляло его думать о несправедливости, о человеческой жизни, о её уязвимости.

Теперь, спустя время, журналист снимает видео совсем по-другому. Он смотрит на экран камеры, не сквозь него, а как бы сквозь объектив. Его глаза – это не органы восприятия, а технические устройства, которые записывают изображение. Когда вокруг него падают снаряды, он не чувствует страха. Он чувствует, нужна ли ему шире открыть диафрагму. Когда он видит раненного человека, его первая мысль не «боже, что произошло», а «получилось ли это на кадре». Это не забывчивость, не отчаяние, это дисциация – организм буквально отделил сознание от эмоции, чтобы работа была возможна.

Константин знает об этом. Ему это не нравится. Он думает, что он потерял что-то важное – способность действительно чувствовать. Но на самом деле он нашёл единственный способ существовать в том, что его дни полны смертью. Без этого диссоциирования он давно был бы пациентом психиатрической клиники, а не журналистом. Его организм выбрал выживание.

Третья сцена. Лагерь беженцев на острове Лесбос, Греция, июль 2023 года. Волонтёры Red Cross работают в палатке с медикаментами. Юлия, волонтёр, слышит истории каждый день. Женщина, изнасилованная в пути. Дитя, потерявшее родителей в Средиземном море. Мужчина, который три месяца ничего не ел, потому что отдавал еду жене. Каждая история – это отдельное человеческое существование, отдельная боль.

В первый месяц Юлия приходила с работы и плакала. Плакала в душе, плакала перед сном, иногда плакала во время смены, когда никто не видел. Это был нормальный, здоровый ответ на невыносимую реальность. Но через месяц плач прекратился. Не потому что она привыкла – привыкнуть к такому невозможно. Но потому что организм понял: если слёзы будут каждый день, она разрушится к концу недели. И организм сделал выбор. Теперь, когда Юлия слушает рассказ о насилии, она остаётся функциональной. Она записывает информацию, говорит нужные слова утешения, даёт медикаменты. И ничего не чувствует. Её лицо – маска профессионализма.

После смены волонтёры сидят вместе и молчат. Никто не говорит «как ужасно», потому что это очевидно. Никто не говорит «как я устал», потому что усталость не объясняет это состояние. Это состояние находится за пределами названия. Это когда сострадание выходит, но сочувствие остаётся. Юлия остаётся моральным агентом, но её внутренний мир закрыт. Она удерживает себя вместе через полное отключение того, что должно быть открыто.

Три сцены. Три профессии. Три разных контекста. Но все они рассказывают одну историю: когда присутствие становится слишком полным, когда реальность слишком близка, когда страдание слишком непрерывно – организм включает механизм защиты. Тело говорит: достаточно. Я не могу больше чувствовать. Я буду работать, я буду функционировать, я буду оставаться морально ответственным, но я перестану чувствовать.

Это не депрессия. Это не психическое заболевание (хотя оно может привести к нему). Это нормальный, здоровый ответ организма на ненормальную ситуацию. И в этом нормальном ответе скрывается глубокий философский кризис.

Тело как место удержания и его пределы

Позвольте нам сделать шаг назад и признать, что случилось: тело Элизабет, Константина и Юлии что-то *удерживает*. Не сознание, не мораль, а тело. Физиологический организм включил механизм, который удерживает эмпатический отклик в состоянии покоя. Это удержание спасает. Но оно также скрывает что-то.

Психолог Бессел ван дер Колк потратил двадцать лет на изучение того, как тело хранит травму. Его основной вывод звучит просто, но революционно: тело помнит то, что сознание забывает. Когда человек переживает нечто невыносимое, мозг включает диссоциацию – он отключает сознательное восприятие, чтобы позволить телу выжить. Но тело всё помнит. Помнит в дрожи рук, в учащённом сердцебиении, в неконтролируемых реакциях испуга.

То же самое происходит с Элизабет. Её сознание отключает эмпатию, но её тело хранит каждую смерть, которую она видела. Не как память, но как физическое состояние. Её мышцы напряжены. Её сон нарушен. Её пищеварение не работает. Её тело говорит ей о том, что её сознание пытается забыть: ты видела смерть сегодня. Много раз. И это тебя изменило.

Здесь мы встречаемся с первым измерением удержания – удержанием в теле. Организм держит то, что психика не может вместить. Это механизм выживания, но также механизм скрытого страдания. Элизабет может работать, но цена этого – её собственное тело становится архивом того, что она отказалась чувствовать сознательно.

Но есть пределы этому удержанию. Ван дер Колк описывает состояние, которое наступает через год или два непрерывного стресса: организм больше не может удерживать. Накопленное напряжение начинает прорываться в виде панических атак, неконтролируемого гнева, суицидальных мыслей, физического коллапса. Тело говорит: я больше не могу так удерживать. Система перегрета.

Элизабет, Константин и Юлия находятся на пороге этого. Они ещё функционируют, они ещё работают. Но их организмы уже отправляют сигналы: это не может продолжаться бесконечно. Удержание имеет срок годности. После этого срока – либо исцеление, либо разрушение.

Это раскрывает нам первый парадокс книги: тело может удерживать то, что сознание не может, но само удержание разрушает организм. Метафизика присутствия не предусмотрела этот парадокс. Она предполагала, что если мы полностью присутствуем, если мы честны с собой – то мы будем здоровы. Но реальность показывает обратное. Полное присутствие перед чужим страданием в условиях непрерывного кризиса – это не путь к здоровью. Это путь к разрушению, которое тело замораживает через отключение чувства.

Экономика внимания: внимание как редкий ресурс

Но почему ситуация стала такой невыносимой? Почему у врачей начало 2020-х годов compassion fatigue развивается намного быстрее, чем у врачей прошлого века? Ответ кроется в одной простой идее: внимание стало редким ресурсом. И как любой редкий ресурс, оно начало систематически эксплуатироваться.

Экономист Георг Франк, написавший в 1998 году книгу «Экономика внимания», предложил революционный анализ. Он заметил, что в XX веке произошла незаметная трансформация. Если в индустриальную эпоху главным ресурсом была земля и рабочая сила, то в век информации главный ресурс – внимание. Внимание потребителя. Внимание зрителя. Внимание читателя. И если ресурс ограничен, то за его контроль разворачивается война.

Реклама, маркетинг, социальные сети, новостные каналы – всё это борется за внимание. Каждое из этих предприятий заинтересовано в том, чтобы захватить как можно больше вашего

внимания и удерживать его как можно дольше. Внимание потребителя = деньги рекламодателя. Это простая экономика. Но у этой экономики есть побочный эффект: все мы живём в состоянии постоянной атаки на наше внимание.

Джонатан Крэри, современный медиа-философ, развил эту идею ещё дальше. В своей книге «24/7: Поздний капитализм и конец сна» он показывает, как капитализм требует непрерывного функционирования. Старая фабрика работала восемь часов в день. Рабочие уходили домой. Был отдых. Был сон. Была жизнь вне работы. Но современный капитализм не допускает этого отключения. Смартфон всегда с тобой. Письма приходят в три часа ночи. Социальные сети работают круглосуточно. На экране постоянно появляются новые кризисы, требующие внимания. Сон становится помехой, а не правом. Отдых выглядит виной, а не необходимостью.

Элизабет, работающая в ковидном отделении в 2020 году, не просто видит смерти – она видит их непрерывно. Её смена длится двенадцать часов, но её мозг включен на подсознательном уровне ещё долгое время после. Дома она прокручивает в голове истории пациентов. Она видит лица умирающих перед сном. Она не спит, потому что организм остаётся в режиме боевой готовности. Это не слабость её психики. Это результат систематической эксплуатации её внимания. Крэри назвал бы это: она работает на капитализм 24/7, даже когда физически находится дома.

То же самое с Константином. Война никогда не отключается. Новости приходят в его смартфон в любое время суток. Он может быть на безопасной территории, но войны мысленно нет. Его внимание требуется постоянно. И в этой постоянности – в этом 24/7 режиме присутствия на войне – его психика начинает отказываться от эмпатии. Это не выбор. Это рациональный ответ системы на невозможные требования.

Франк и Крэри показывают нам, что *compassion fatigue* – это не индивидуальная слабость. Это структурный результат экономики, которая требует полного, непрерывного присутствия. Машина работает 24/7, и человек в этой машине должен работать 24/7. Но человеческая психика не может функционировать в таком режиме. Она может симулировать функционирование, но только отключив то, что делает её человеческой: способность чувствовать, сочувствовать, быть уязвимой.

24/7 капитализм и непрерывное присутствие

Давайте будем честны: мир 2025 года – это мир, который никогда не спит. Где-то всегда происходит кризис. Где-то всегда идёт война. Где-то всегда происходит катастрофа. И благодаря интернету, благодаря социальным сетям, благодаря мобильным телефонам – мы всегда об этом знаем. Мы всегда присутствуем.

Даже если мы физически в безопасности, психологически мы на передовой. Мы видим видео военных конфликтов. Мы видим видео из Газы. Мы видим видео с американских школьных расстрелов. Мы видим видео с климатических катастроф. Всё это приходит в наш телефон в режиме реального времени, в HD качестве, с эмоциональным комментарием. И наш мозг вынужден обрабатывать всё это как экзистенциальную угрозу.

Это создаёт что-то, что мы можем назвать «состояние непрерывного присутствия при кризисе». Раньше, даже если в другой стране была война, мы узнавали об этом неделю спустя через газету. Была отсрочка. Была буферная зона между событием и нашим знанием о нём. Это дало нашей психике время на обработку, на дистанцирование. Но теперь дистанции нет. Трагедия происходит в какой-то точки мира в семь утра, а в восемь утра я уже вижу видео смерти через мой смартфон.

Крэри назвал это состояние *соответствием требованиям 24/7 капитализма к присутствию*. Ты не должен спать, ты должен быть всегда доступным, всегда включенным, всегда готовым к следующему кризису. Но когда все события требуют эмпатического отклика –

смерть, насилие, несправедливость – то организм оказывается в ловушке. Эмпатия становится истощаемым ресурсом.

Представьте экономику эмпатии. У каждого из нас есть ограниченное количество эмоциональной энергии в день. Раньше эта энергия требовалась только для людей, которых мы знали: семья, друзья, соседи. Может быть, большие события (война, катастрофа) требовали экстраординарного использования этого ресурса. Но в целом, бюджет эмпатии был управляем.

Теперь все события мира требуют эмпатического отклика. Каждый день мы узнаём о новых смертях, новых трагедиях, новых несправедливостях. И если мы действительно чувствуем каждую из них – если мы действительно присутствуем при каждой смерти, видимой в нашем телефоне – то запас эмпатии истощается к первой же неделе.

Организм знает это. Организм знает, что он не может выжить, если будет полностью присутствовать при каждом кризисе. И поэтому организм делает то, что делала Элизабет, Константин и Юлия. Он отключает эмпатический отклик. Это не цинизм, это не жестокость, это рациональное решение о выживании.

Усталость или удержание: первое различие

Но здесь нам нужно провести первое, критическое различие. Слово, которое мы использовали все это время – «compassion fatigue» – говорит об усталости. И это имя опасно. Оно создаёт впечатление, что проблема – в чувстве. Что врачи и журналисты просто устали чувствовать, и если они отдохнут, выспятся, пойдут в отпуск – то всё вернётся в норму.

Но это не так. Вернёмся к Элизабет. Она не устала от чувств. Она не устала от забот о пациентах. Она отключила чувства, чтобы сохранить способность к действию. Это совсем другое.

Когда мы говорим об усталости, мы говорим о дефиците. Мне не хватает сочувствия. Я должен восстановить его. Но что, если происходит нечто противоположное? Что если организм не устал, а сделал активный выбор? Что если отключение эмпатии – это не дефект, а функция?

Давайте введём новое слово. Вместо *усталость* скажем *удержание*. Элизабет удерживает чувства, чтобы иметь возможность работать. Она удерживает боль, потому что полное присутствие перед ней парализовало бы её. Она удерживает сочувствие в состоянии покоя, чтобы остаться функциональной.

Это измеряет что-то принципиально иное. Усталость говорит: я слишком устал, чтобы чувствовать. Удержание говорит: я активно воздерживаюсь от полного чувства, чтобы остаться в действии.

Различие это не просто словесное. Оно онтологическое.

Если мы согласимся, что происходит усталость, то решение очевидно: отпуск, психотерапия, смена работы. Это индивидуальные решения. Но если мы согласимся, что происходит удержание – то это заставляет нас переосмыслить саму структуру мира. Если мир требует, чтобы люди удерживали свою эмпатию, чтобы выжить – то что-то неправильно не с врачом, а с миром.

И вот мы подходим к границе того, что может объяснить психология. Потому что психология изучает индивидуальное сознание. Но то, что происходит с Элизабет, Константином и Юлией – это не индивидуальная проблема. Это проблема структуры реальности. Это кризис того, как мы организовали существование.

Метафизика присутствия учила нас, что правильное существование – это полное, честное, непрерывное присутствие перед реальностью. Но эта метафизика разбилась о рифы XXI века. Полное присутствие разрушает. Непрерывное присутствие перед кризисом убивает способность действовать. И люди – люди в помогающих профессиях, люди на границах войны, люди, которые выбрали помогать другим – вынуждены отключить что-то в себе, чтобы выжить.

Это первый кризис нашей книги. Не психологический, а онтологический.

И из этого кризиса вырастает вопрос, который мы будем развивать в следующих главах: если полное присутствие невозможно и разрушительно, может ли быть иной способ быть? Может ли удержание быть не дефицитом, а новой формой существования? Может ли молчание, отступление, воздержание – может ли всё это быть не потерей присутствия, а его трансформацией?

Но прежде чем ответить на эти вопросы, нам нужно увидеть второй кризис. За пределами кризиса чувства лежит кризис самого существования. Есть люди в мире, чьё существование находится не в состоянии усталости, а в состоянии предельной уязвимости. Люди, которые существуют не как полные субъекты, а как *голая жизнь*. И к их истории мы перейдём в следующей главе.

Глава 2. Голая жизнь: существование без политической формы

Беженец без документов: сцена на границе

Утро на турецко-греческой границе. Эджеджик, совсем мальчик, семнадцать лет. Он прибыл из Сирии четыре месяца назад. Его семья осталась в лагере в Турции. Он решил пойти дальше, в Европу, потому что слышал, что там можно найти работу, образование, жизнь, которая не лагерь. Ночью переправился через реку. Его поймали греческие пограничники.

Теперь он стоит в пограничной зоне. Не в Турции, не в Греции. В промежутке. Его спрашивают документы. У него их нет. Паспорта нет – он остался в Дамаске при режиме, который стреляет в людей, просящих паспорт. Удостоверения беженца нет – это выдаёт только UNHCR, а его регистрация завис в бюрократической системе Турции, где живут четыре миллиона беженцев, и на каждого по две минуты внимания чиновников.

Пограничники смотрят на него. На их лицах ни жалости, ни злости. Процедурное лицо. Они видели сотни таких. Мальчик спрашивает: «Я могу остаться?» Ответ: «Ты не имеешь правового статуса. Ты не можешь остаться». «Я могу идти дальше?» «Нет, граница закрыта». «Где я должен быть?» На этот вопрос нет ответа. Пограничники не знают, где он должен быть. Потому что он должен быть в месте, которое не существует.

Эджеджика помещают в зону ожидания. Это не тюрьма, но и не открытое пространство. Высокий забор из колючей проволоки. Палатки, предоставленные NGO. Другие люди, такие же как он – тысячи их. Все они находятся в одном состоянии: они существуют, но они не существуют в политическом смысле. Они дышат, их сердце бьётся, но они невидимы для закона.

Эджеджик спрашивает: какие у меня есть права? Ответ сложный. Теоретически, даже без документов, он имеет право на базовую медицинскую помощь, на еду, на минимальное убежище. Но теоретически. На практике эта медицинская помощь приходит с задержкой в три недели. Эта еда – рис и консервированные овощи. Это убежище – палатка, в которой летом пятьдесят градусов. Теоретически ему полагается возможность поговорить с юристом. Но юристов в лагере четыре на тысячу человек.

Главное же: Эджеджик не может работать. Он не может открыть счёт в банке. Он не может получить SIM-карту, чтобы позвонить матери. Он не может получить проездной билет на автобус. Каждое действие, которое требует идентификации, для него закрыто. Он существует в состоянии, которое философ Джорджо Агамбен назовёт «голой жизнью» – *bare life*.

Это не философия. Это реальность четырнадцати миллионов людей в мире, которые официально не считаются ни гражданами никакой страны, ни полноценными беженцами. Они существуют в промежутке. Их жизнь – это просто биологическое существование, лишённое политической формы, правового статуса, общественного признания.

Когда Эджеджик заболевает, врачи лечат его биологическое тело. Когда он голоден, ему дают пищу. Но когда он просит права, просит будущего, просит признания – он получает только безмолвие. И в этом безмолвии, в этом отсутствии ответа, раскрывается второй кризис нашей книги.

Это кризис не чувства, а самого существования. Не кризис того, как мы ощущаем реальность, а кризис того, кто считается человеком, достойным ощущать.

Агамбен: *bare life* между *zo* (биологическая жизнь) и *bios* (политическая жизнь)

Джорджо Агамбен, итальянский философ, потратил два десятка лет на размышление о том, что значит быть исключённым из политического сообщества. Его главное открытие выражено в одном различии.

В древнегреческом языке было два слова для жизни. *Zo* – это просто биологическое существование. Жизнь животного. Жизнь, которая дышит, ест, размножается. *Bios* – это политическая, общественная жизнь. Жизнь как участие в сообществе, как наличие голоса, как право иметь права. *Zo* – это то, что у нас есть с животными. *Bios* – это то, что отличает человека.

Аристотель различал эти два вида жизни просто: животные имеют *zo*, люди имеют *bios*. Человек – это политическое животное. То есть человек – это животное, которое превосходит просто биологическое существование благодаря жизни в городе-государстве, в политическом сообществе.

Но Агамбен заметил что-то странное в современном мире. Существует категория людей, которые имеют *zo*, но не имеют *bios*. Люди, чьё биологическое существование признано – их кормят, лечат, не убивают без причины – но чьё политическое существование отрицается. Они дышат, но они не голосуют. Они существуют, но они невидимы для закона. Они живут, но жизнь их – это просто жизнь, без формы, без статуса, без признания.

Агамбен называет это состояние *bare life* – голая жизнь. Это жизнь, лишённая политической оболочки. Это жизнь в состоянии исключения из политического порядка.

И здесь Агамбен делает ещё один шаг, который потрясает основы западной политической философии. Он говорит, что это состояние не исключение из политики. Это норма политики. Классическая политическая философия думала, что исключение – это ошибка системы. Что-то сломалось, и человек оказался вне защиты закона. Но Агамбен видит структурное различие.

Политический порядок работает через различие между тем, кто включён и кто исключён. Граница государства существует именно потому, что есть люди внутри границы и люди снаружи. Закон работает именно потому, что есть люди, защищённые законом, и люди, не защищённые. Это не ошибка политики. Это фундамент политики.

И вот в этом фундаменте находится *bare life*. Это жизнь, которая всегда может быть исключена. Это жизнь, которая существует в нависшей над ней угрозе. Это жизнь без гарантий.

Агамбен показывает, что граница между включением и исключением – это не чёткая линия. Это промежуток. И в этом промежутке существуют миллионы людей: беженцы, мигранты без документов, апатриды (люди без гражданства), люди в лагерях, люди в тюрьмах, люди в психиатрических больницах. Все они биологически живы, но политически мертвы. Или, точнее, они находятся в состоянии, которое Агамбен называет *исключённое включение*. Они включены в политический порядок (их тела находятся под контролем государства), но включены в качестве исключённых (у них нет права голоса, нет защиты, нет признания).

Эджеджик находится именно в этом состоянии. Он включён, потому что государство видит его, регистрирует его, кормит его. Но он исключён, потому что государство не признаёт его как человека, который имеет права. Его жизнь – это просто жизнь, без формы, без статуса. *Bare life*.

Биополитика: управление жизнью как форма власти

Чтобы понять, почему такое состояние возможно, нам нужно обратиться к Мишелю Фуко и его концепции *биополитики*.

Фуко заметил революцию, которая произошла в конце XVIII века. До этого времени власть работала простым способом: король велел, и если ты не подчинялся – тебя казнили. Власть была о смерти. Король имел право убивать своих врагов. Это была власть над смертью, власть отнимать жизнь.

Но в конце XVIII века, когда появились демократии, когда появился национальный капитализм, необходимо было новое управление. Потому что убивать людей – это неэффективно. Они больше не могут работать, не могут производить, не могут потреблять. Нужна была не власть над смертью, а власть над жизнью.

Фуко называет это биополитикой – управлением жизнью населения. Государство начало интересоваться здоровьем своих граждан, потому что здоровые граждане работают лучше. Государство начало вводить гигиену, образование, медицину, потому что это повышало производительность. Государство начало подсчитывать население, потому что нужно было знать, сколько работников у тебя есть.

Биополитика не отменила старую власть над смертью. Она добавила новую измерение. Власть теперь управляла жизнью: как долго люди живут, сколько детей они рожают, где они живут, как они работают. Жизнь стала объектом политики.

Но самое важное открытие Фуко в том, что биополитика требует разделения. Она требует различия между *полезной жизнью* и *бесполезной жизнью*. Граждане, которые работают и производят, имеют полезную жизнь. Государство заботится о них, потому что они полезны. Но есть люди, чья жизнь считается бесполезной или опасной: инвалиды (в нацистской Германии), люди с психическими болезнями (в советских лагерях), люди, которые не могут работать.

И вот здесь биополитика сталкивается со своим внутренним противоречием. Если жизнь управляется, то логично, что государство должно управлять всей жизнью. Но если жизнь бесполезна – если человек не работает, не производит, не потребляет – то для биополитики он становится проблемой. И решение этой проблемы – это исключение.

Беженец – это парадигматический пример бесполезной жизни в режиме биополитики. Он не может работать (это запрещено), он не может производить (ему нечего). Его жизнь – это просто жизнь, потребляющая ресурсы. И в биополитической логике это жизнь, которую нужно исключить или минимизировать.

Но государство не может просто убить его (это нарушило бы гуманитарный закон). И оно не может просто отпустить его (это нарушило бы суверенитет границ). Поэтому государство помещает его в промежуток: в лагерь, в зону ожидания, в состояние, в котором его жизнь управляется на минимальном уровне. Его кормят, чтобы он не умер. Но его изолируют, чтобы он не представлял проблему. Его жизнь – это просто удержание её в существовании.

И вот здесь мы встречаемся с первым появлением концепта, который будет центром нашей книги. Государство *удерживает* жизнь беженца. Не по щедрости, а потому что полное исключение (убийство) нарушило бы международное право. Государство удерживает его в состоянии существования, но только биологического существования, без политической формы.

Некровласть: политика смерти

Но если Фуко говорил о власти над жизнью, то его преемник, Ачиле Мбембэ, заметил что-то ещё более тревожное. Он ввёл термин *некровласть* – власть над смертью. И он показал, что в современном мире эти две формы власти переплетаются.

Мбембэ, африканский философ, размышлял об опыте колониализма и его наследии. Колониальный порядок, говорит он, работал не только через управление жизнью, но через право решать, кто может жить и кто должен умереть. В колониальных территориях европейцы имели абсолютную власть над жизнью и смертью местного населения. Это была не просто власть над жизнью – это была власть над биологическим существованием как таковым.

И эта форма власти не исчезла с концом формального колониализма. Она переместилась. Теперь некровласть работает через границы, через миграционный контроль, через биополитику беженцев и мигрантов.

Когда Эджеджик находится в пограничной зоне, он находится под властью некровласти. Государство имеет право решить, кто будет отпущен через границу и кто будет отправлен назад. Государство имеет право положить конец существованию беженца – не убивая его напрямую, а просто отправив его в нестабильную ситуацию, где он может умереть. Государство

имеет право решить, кто будет получать медицинскую помощь (граждане) и кто будет оставлен умирать (мигранты без документов).

Мбембэ показывает, что эта власть над смертью – это не исключение из биополитики. Это её логическое продолжение. Если государство управляет жизнью через различие между полезной и бесполезной жизнью – то логично, что оно также управляет смертью. Некровласть и биополитика – это две стороны одной медали. Одна говорит: «Эта жизнь полезна, мы её сохраняем». Другая говорит: «Эта жизнь опасна или лишняя, мы позволяем ей умереть».

И вот здесь возникает уже не просто вопрос об удержании жизни, но вопрос о том, кто решает, чья жизнь достойна удержания, а чья – нет.

Голая жизнь в промежутке: не внутри и не вне политического порядка

Вернёмся к Эджеджику. Его состояние – это не состояние простого исключения. Агамбен называет его *исключённое включение*, и это имеет очень точное значение.

Эджеджик исключён из политического сообщества Греции. Он не гражданин, он не имеет прав, он не может голосовать. Но в то же время он включён, потому что государство видит его, регистрирует его, управляет его жизнью. Его тело находится под контролем государства. Его движения ограничены забором. Его питание контролируется. Его здоровье и болезни отслеживаются.

Это создаёт странную онтологическую ситуацию. Эджеджик находится в промежутке. Не полностью внутри политического порядка, потому что он не имеет прав. Не полностью снаружи, потому что его жизнь управляется. Он в зоне ожидания, в лагере, в пограничной зоне – все эти места являются не-местами. Они не пространства защиты, но и не пространства открытой враждебности. Они пространства удержания.

И в этом промежутке происходит что-то онтологически важное. Эджеджик существует, но его существование – это существование без гарантий. Его жизнь может закончиться по решению государства. Его смерть не будет убийством (в правовом смысле), потому что он уже, в сущности, не совсем человек. Его смерть будет просто концом биологического существования, которое когда-то привело к беспокойству, а теперь привело к облегчению.

Это не преувеличение. История полна примеров. Беженцы, которые умирают в лагерях от поддающихся лечению болезней, потому что медицинской помощи недостаточно. Мигранты, которые тонут в Средиземном море, потому что никто не приходит им на помощь. Люди, которые умирают в промежутке между государствами, потому что ни одно государство не считает ответственным за них.

И в этих смертях раскрывается логика некровласти. Эти люди умирают не потому, что их активно убивают. Они умирают потому, что государство активно не спасает их. Государство удерживает их в промежутке и позволяет смерти сделать свою работу.

Батлер: чья жизнь достойна оплакивания?

Американская философ Джудит Батлер задала вопрос, который кажется простым, но разрушает всю политическую философию: *Чья жизнь достойна оплакивания?*

После 11 сентября 2001 года в американских СМИ было огромное количество материалов, посвящённых жертвам терактов в Нью-Йорке. Их имена, фотографии, биографии были везде. Америка оплакивала их. Это было общественное признание: эти люди *mattered*, эти люди *were human*, эти люди *were worth grieving*.

Но одновременно, во время войны в Афганистане, которая началась вскоре после 11 сентября, тысячи афганских гражданских лиц умирали от американских бомбардировок. Но о них не было никаких материалов. Никаких имён, никаких фотографий, никаких биографий. Их смерти были просто статистикой: *collateral damage*, побочный ущерб.

Батлер заметила: в американских СМИ жизни американцев были достойны оплакивания. Жизни афганцев – нет. И это не просто вопрос количества внимания. Это вопрос о том, кого мы признаём как человека, достойного признания его смерти.

Батлер ввела термин *precarious life* – уязвимая жизнь. Она говорит, что все люди уязвимы. Все люди могут быть ранены, все люди могут умереть. Но государства и общества различают, чья уязвимость стоит признавать и чья – нет. Чья жизнь достойна защиты и чья может быть отдана на произвол судьбы.

В нашем случае жизнь Эджеджика – это уязвимая жизнь, которая не признаётся. Если он умрёт в пограничной зоне, никто не напишет его имя в газету. Никто не сделает его лицо символом несправедливости. Его смерть будет просто смертью, без общественного признания, без оплакивания, без значения.

Батлер называет это *precarity* – состояние, в котором твоя жизнь не признана как достойная жизнь. Это не просто физическая уязвимость (все мы физически уязвимы), но социальная и политическая невидимость. Твоя смерть не будет оплакиваться, потому что твоя жизнь не считалась за жизнь, достойную признания.

И здесь мы видим, что в политическом порядке жизнь разделена на две категории:

– *Grievable lives* – жизни, которые достойны оплакивания, жизни, которые считаются человеческими

– *Ungrievable lives* – жизни, которые не стоит оплакивать, жизни, которые не считаются полностью человеческими

Эджеджик – это *ungrievable life*. Его жизнь существует, но она не считается жизнью, которую нужно признавать.

Кто удерживает голую жизнь в существовании?

Но вот парадокс, который нас интересует в этой книге. Если Эджеджик – это просто лишняя жизнь, если его жизнь не достойна оплакивания, то почему государство вообще его кормит? Почему оно не просто позволит ему умереть?

Ответ кроется в одной детали. Государство не может просто позволить ему умереть, потому что это нарушило бы международное право. Конвенция о защите беженцев требует, чтобы государства предоставляли базовое убежище, еду, медицинскую помощь. Государство, которое позволило бы беженцам умирать от голода, нарушило бы эту конвенцию и получило бы критику от международного сообщества.

Поэтому государство занимает позицию между: оно не полностью убивает беженца (это нарушило бы закон), но и не полностью его защищает (это означало бы признать его как полноценного человека). Государство удерживает его жизнь в состоянии минимального существования.

И здесь появляется третье измерение удержания, которое мы будем развивать во второй части книги. Первое измерение – это *self-restraint*, удержание импульса (как врач удерживает эмпатию). Второе измерение – это *retention*, удержание во времени, в теле, в памяти (как организм удерживает травму). Третье измерение – это *holding open*, удерживание открытым, удерживание существования другого в условиях давления на его исключение.

Государство удерживает жизнь Эджеджика открытой. Не потому, что оно его любит. Не потому, что оно признаёт его как полноценного человека. Но потому, что альтернатива (его смерть) была бы слишком явной. Поэтому государство держит его в промежутке, в лагере, в состоянии удержания.

Это не хорошо. Это не гуманитарно. Это просто то, что государство может сделать, пока оно претендует на соблюдение международного права. Государство удерживает беженца в минимальном существовании – не как акт милосердия, а как акт соответствия букве закона при нарушении его духа.

И Эджеджик остаётся в пограничной зоне. Биологически жив, политически мёртв. Его жизнь удерживается в существовании, но это удержание – это не признание его как человека. Это просто минимальное управление его существованием.

Две жизни, два молчания

Давайте теперь сделаем шаг назад и соединим два кризиса, которые мы обсуждали.

В первой главе мы видели врача, которого организм заставляет отключить эмпатию. Его молчание – это молчание сочувствия. Он видит пациента, но не может полностью чувствовать его боль. Его молчание – это форма удержания, которая позволяет ему продолжать работать.

Во второй главе мы видим беженца, жизнь которого удерживается государством в состоянии минимального существования. Его молчание – это молчание невидимости. Он существует, но никто не слышит его голоса. Его молчание – это форма удержания, которую ему навязывают.

Это два разных молчания, но они связаны. Оба они результат структурного кризиса. Оба они результат того, что метафизика присутствия не может больше функционировать. Врач не может полностью присутствовать перед страданием, потому что это его разрушит. Беженец не может существовать как полноценный субъект, потому что политический порядок отказывает ему в этом.

И в обоих случаях, появляется концепт удержания. Врач активно удерживает свою эмпатию. Государство активно удерживает жизнь беженца в минимальном существовании. Удержание в обоих случаях – это не признание, не моральное действие. Это просто то, что остаётся, когда полное присутствие становится невозможным.

Но есть третий кризис, который мы ещё не обсуждали. Третий кризис – это кризис того, кто видит эти молчания и молчит в ответ. Это кризис зрителя, который знает об этом, но ничего не может сделать. И к этому кризису мы перейдём в следующей главе.

Глава 3. Complicity: онтология соучастия

Серая зона Примо Леви: ни жертвы, ни палачи

Примо Леви пережил Auschwitz. Он был заключённым, узником концентрационного лагеря, человеком, над которым совершалось невообразимое насилие. Когда лагерь был освобожден, он остался в живых. И затем он написал книгу – знаменитую книгу «*Se questo è un uomo*» («Если это человек»). Это свидетельство. Это обвинение. Это попытка понять невозможное.

Но в одной части книги Леви вводит концепт, который его самого, похоже, потряс. Он называет его *серая зона*. И он говорит о ней как о самом трудном для понимания аспекте лагерной жизни.

Серая зона – это пространство, в котором люди, сами являясь жертвами системы, становились её орудиями. Некоторые узники получали небольшие привилегии – лучшую еду, лучшую одежду, возможность не выполнять самую изнурительную работу – за то, чтобы помогать нацистам в управлении лагерем. Они становились *капо* – узниками, которые охраняли других узников, ударяли их, заставляли их работать. Они были жертвами системы и одновременно её соучастниками.

Леви описывает встречу с одним из таких капо. Этот человек был живым противоречием. Днём он был орудием системы – жестокий, беспощадный. Но ночью он рассказывал, что скучает по своей жене, по своим детям, что он человек, что это невыносимо. Днём он бил других узников. Ночью он плакал.

И Леви пишет что-то поразительное. Он говорит, что осуждать этого человека полностью, как будто он выбирал быть жестоким, – это было бы ложью. И оправдывать его полностью, как будто он был просто жертвой, – это тоже было бы ложью. Этот человек находился в серой зоне. Он был одновременно жертвой и палачом.

Серая зона, по Леви, – это не место безответственности. Это не пространство, в котором можно сказать «я ничего не делал». Это пространство, в котором человек делает то, что он не хотел бы делать, чтобы выжить. Это пространство компромисса с собственной совестью, совершённого под угрозой смерти.

Но самое важное открытие Леви – это то, что серая зона не была исключением в нацистской системе. Это была структурная необходимость. Система не могла функционировать без капо. Нацисты были численно слишком малочисленны. Они не могли управлять миллионами узников только силой. Им нужны были посредники. Им нужны были люди из самих узников, которые согласились бы сотрудничать.

И здесь Леви делает вывод, который кажется парадоксальным: система создала серую зону. Система сделала сотрудничество необходимым условием выживания. И тогда человека, который согласился сотрудничать, – нельзя осуждать так же, как нельзя осуждать нацистов. Он был в другом положении. Его выбор был сделан под давлением, в котором выбора практически не было.

Но это не означает, что он невиновен. Это означает, что его вина имеет другой характер. Он виновен в том, что он согласился. Но он согласился, потому что отказ означал смерть. И вот в этом парадоксе Леви видит самую тёмную часть нацистской системы: она создала условия, в которых люди вынуждены стать соучастниками её собственного уничтожения.

Серая зона – это онтологическое пространство, в котором человек не может быть ни полностью невиновным, ни полностью виновным. Это пространство, в котором традиционная мораль перестаёт работать.

Функционер как онтологическая фигура

Но серая зона не ограничивается концентрационными лагерями. Леви, когда позже размышлял об этом, понял, что серая зона – это структурная особенность любой бюрократической системы.

Возьмём чиновника, который выдаёт документы. Он знает, что новая система регистрации беженцев несправедлива. Что она создана, чтобы отложить решение о статусе на бесконечность. Но это его работа. Его начальник приказывает ему использовать эту систему. Если он откажется, его уволят. И его семье будет нечем жить.

Так функционер становится исполнителем несправедливой системы. Но он не думает о себе как о враге. Он просто делает свою работу. Он просто выполняет приказы. Он просто следует процедуре.

Ханна Арендт назвала это *банальностью зла*. Когда она наблюдала процесс Адольфа Эйхмана в Иерусалиме, она ожидала встретить монстра. Человека, полного ненависти, полного идеологии. Но вместо этого она встретила обычного чиновника. Человека, который просто исполнял свои должностные обязанности. Человека, который не видел себя как преступник. Он просто работал.

И здесь возникает онтологическая фигура, которую мы можем назвать *функционер*. Это не человек, который активно желает зла. Это человек, который встроен в систему, которая производит зло. Функционер – это человек, который может быть добрым, чувствительным, любящим в своей личной жизни, но в своей профессиональной жизни он становится орудием системы.

Функционер не обязательно злой. Он просто делает то, что требует его позиция в системе. Он просто следует правилам. Он просто выполняет приказы. И в этом просто, в этом отсутствии активной воли ко злу, скрывается самое ужасное.

Потому что функционер может оправдаться. Он может сказать: я не решал эти законы, я просто их применяю. Я не ненавижу беженцев, я просто выполняю процедуру. Я ничего не делал неправильно.

Но функционер делал что-то неправильное. Он согласился быть частью системы, которая производит несправедливость. И вот в этой согласии, в этом молчаливом согласии продолжать работать в такой системе, скрывается форма соучастия.

Complicity vs silence as complicity: два различных концепта

Здесь нам нужно провести критическое различие. В философии есть два концепта, которые часто путают, но которые означают совершенно разные вещи.

Complicity – соучастие. Это активное или пассивное участие в системе, которая производит зло. Когда ты работаешь в системе, которая угнетает, ты *complicit*. Это не означает, что ты плохой человек. Это означает, что ты встроен в структуру, которая производит несправедливость.

Silence as complicity – молчание как соучастие. Это специфический вид соучастия, при котором ты видишь зло и молчишь о нём. Это молчание становится формой поддержки зла.

Но и *complicity*, и *silence as complicity* можно дальше разделить. Есть два вида молчания, и это различие критично для понимания третьего кризиса нашей книги.

Молчание как активное удержание (Визель) vs молчание как соучастие

Зальман Визель был узником Освенцима с семи лет. Он пережил невозможное. Его отец был убит в газовой камере. Его мать тоже. Он один остался в живых из его семьи.

Когда лагерь был освобожден, Визель молчал. Он не писал, не рассказывал, не делился своей историей. Он молчал десять лет. Полных десять лет. В этот период он жил, учился, работал, но он не говорил о том, что произошло.

Когда его наконец спросили, почему он молчал так долго, он ответил, что он не был готов. Слова не существовали для того, чтобы выразить то, что он пережил. Или, точнее, слова существовали, но если он бы их использовал, они бы предало то, что произошло. Полнота ужаса Освенцима не может быть выражена словами.

Поэтому Визель молчал. Но это молчание было активным. Это было молчание, которое удерживало свидетельство. Это было молчание, которое говорило: то, что произошло, слишком велико, чтобы быть выраженным. Мы должны жить с этим невыраженным, с этим неразрешённым.

Это молчание – это первый вид удержания, который мы будем развивать во второй части книги. Визель удерживает свидетельство через молчание. Его молчание не является сотрудничеством с системой, которая хотела бы забыть об Освенциме. Его молчание – это активное противостояние забыванию. Молчание как средство сохранения.

Но есть другой вид молчания. Это молчание того, кто видит зло и молчит, потому что молчание удобнее. Молчание того, кто знает, что что-то несправедливо, и молчит, потому что говорить было бы рискованно. Молчание того, кто просто не хочет видеть и в этом не-видении становится соучастником.

Функционер часто молчит этим вторым молчанием. Он видит, что система несправедлива. Но он молчит, потому что его работа зависит от этой системы. И в этом молчании он становится соучастником.

Различие между двумя молчаниями – это различие между активным удержанием и пассивным соучастием. Визель молчит, чтобы что-то сохранить. Функционер молчит, чтобы что-то забыть.

Moral distress: знать правильное и не мочь совершить

Давайте введём новый концепт, который помогает нам понять парадокс функционера. Это концепт *moral distress* – моральное страдание.

Моральное страдание возникает, когда человек знает, что является морально правильным, но обстоятельства не позволяют ему это совершить. Это не аморальность и не психологический конфликт. Это специфическое состояние, в котором мораль и действие расходятся.

Представьте медсестру в перегруженной больнице. Она знает, что каждому пациенту требуется максимальное внимание. Но у неё есть 20 пациентов на одного человека. Она не может дать каждому надлежащее внимание. Она делает всё, что может, но она знает, что это недостаточно. Она морально страдает, потому что она не может совершить то, что считает морально правильным.

Или возьмём юриста, который работает в системе, которая она считает несправедливой. Она знает, что законы, которые она помогает применять, несправедливы. Но если она откажется работать, её выгонят. И на её место придёт кто-то, кто будет применять эти же законы. Так она остаётся на месте, морально страдая, делая то, что, как она знает, неправильно.

Моральное страдание – это не оправдание. Это признание парадокса: ты совершаешь то, что считаешь неправильным, потому что альтернатива была бы ещё более неправильной.

И вот именно в этом пространстве морального страдания происходит то, что я бы назвал *deliberative complicity* – осознанное соучастие. Человек знает, что он соучастник. Он это признаёт. Но он остаётся соучастником, потому что выход кажется невозможным.

Deliberative complicity: сознательное молчание

Чарльз Донован, американский философ, предложил анализ того, что он называет *deliberative complicity*. Это соучастие, о котором человек знает. Это сознательный выбор остаться в системе несправедливости, несмотря на полное понимание того, что происходит.

Донован приводит пример. Представьте человека, который работает в компании, которая производит оружие. Он знает, что это оружие используется для убийства. Он морально против войны. Но он остаётся в компании, потому что ему нужна работа, чтобы содержать семью. Он, таким образом, *deliberatively complicit*. Он сознательно выбирает остаться соучастником.

Это не то же самое, что быть вынужденным быть соучастником. Это активный, сознательный выбор. Человек знает, какую границу он переходит. Он переходит её осознанно.

Но самое важное в анализе Донована – это то, что такой выбор может быть рациональным. Если альтернатива выбору остаться на работе – это экономическое разорение семьи, то человек рационален, выбирая остаться. Это не означает, что это морально правильно. Это означает, что это рационально оправдано.

И здесь мы видим, что моральное и рациональное расходятся. Человек может быть одновременно морально неправ и рационально прав.

Функционер, который молчит о несправедливости системы, часто находится именно в этой позиции. Он знает, что система несправедлива. Он сознательно выбирает молчать. Но он делает это потому, что альтернатива – потеря работы, потеря социального статуса, потеря возможности помогать людям (даже в системе, которая он считает несправедливой).

И вот здесь мы встречаемся с самым сложным аспектом третьего кризиса: человек может быть виновен и рационален одновременно. Его выбор может быть и моральным преступлением, и рациональной необходимостью.

Граница между бессилием и ответственностью

Но давайте не будем слишком поспешно осуждать функционера. Потому что если мы это сделаем, мы упустим самый важный вопрос.

Вопрос в том: где проходит граница между бессилием и ответственностью?

Когда человек может сказать: я был бессилен, я не мог ничего сделать? И когда он должен сказать: я был ответственен, я мог выбрать иначе?

Человек, который работает в системе угнетения под угрозой смерти (как капо в лагере), находится в состоянии крайнего бессилия. Его выбор практически не существует. Отказ означает смерть. В таком состоянии можно ли говорить об ответственности?

Но человек, который работает в системе угнетения, чтобы содержать семью, находится в другом положении. Его выбор не выбор между жизнью и смертью. Его выбор – между комфортом и принципом. В таком состоянии можно ли говорить об отсутствии ответственности?

И где это расстояние? Где граница между ними?

Леви, размышляя о серой зоне, предлагает, что эта граница размыта. Она не чёткая линия, которую можно провести. Это континуум. И на каждой точке континуума человек имеет какую-то степень ответственности, но эта ответственность ослаблена степенью его бессилия.

Функционер, который знает, что система несправедлива, и молчит о ней, несёт ответственность. Но его ответственность ослаблена тем фактом, что отказ был бы рискованней. Его молчание – это не полная вина. Это соучастие, обусловленное бессилием.

Третий кризис: когда я молчу, видя молчание других

Теперь давайте сделаем решающий шаг. Давайте перейдём от функционера, встроенного в систему, к нам – к зрителям этой системы.

Я открываю свой смартфон. Я вижу видео войн. Я вижу видео из Газы. Я вижу видео из лагеря беженцев на острове Лесбос. Я вижу, что происходит зло. Я вижу, что система несправедлива. Я вижу, что люди страдают.

И затем я закрываю смартфон. Я иду готовить ужин. Я смотрю фильм. Я живу своей жизнью.

Я не функционер. Я не встроен в систему угнетения. Я не могу сказать, что я был вынужден молчать под угрозой смерти. Я просто молчу, потому что... потому что что?

Потому что я чувствую себя бессильным. Потому что я не знаю, что сделать. Потому что мой голос ничего не изменит. Потому что легче молчать, чем говорить.

Это молчание – это соучастие другого рода. Это молчание того, кто имеет относительную свободу выбора, но выбирает не действовать. Это молчание того, кто не встроен в систему несправедливости, но пассивно её поддерживает.

Франц Фанон, алжирский философ и психиатр, писал об этом в своей книге «The Wretched of the Earth». Он говорил, что молчание интеллигенции в момент угнетения эквивалентно сотрудничеству с угнетателем. Если ты имеешь возможность говорить и ты молчишь, ты выбираешь сторону статус-кво.

Но здесь возникает вопрос, который более сложен. Имею ли я действительно возможность говорить? Если я говорю против войны, но война продолжается, имела ли моя речь смысл? Если я пожертвую деньги правозащитной организации, но система остаётся той же, была ли моя помощь полезной?

Может быть, я молчу не потому, что я соучастник, а потому, что я признаю свою беспомощность? Может быть, мое молчание – это признание того, что я ничего не могу изменить?

Примо Леви молчал десять лет. Был ли он соучастником? Был ли его молчание формой соучастия с забыванием?

Нет. Потому что его молчание было активным удержанием. Визель молчал после Освенцима. Было ли его молчание соучастием?

Нет. Потому что его молчание было активным сохранением свидетельства.

И вот здесь мы видим третье измерение удержания, которое появляется перед нами. Это измерение *holding open* – удерживания открытого. Это удержание вопроса в открытом состоянии, несмотря на давление закрыть его. Это удержание признания страдания, несмотря на давление забыть о нём.

Мое молчание может быть либо:

– *Complicity* – сознательное соучастие в системе забывания

– *Deliberative complicity* – осознанное соучастие в системе угнетения

– *Holding open* – активное удержание вопроса в открытом состоянии, несмотря на мою беспомощность

Разница между ними в том, как я отношусь к своему молчанию. Если я молчу и притворяюсь, что ничего не происходит, – это *complicity*. Если я молчу и знаю, что я соучастник, но остаюсь молчать, – это *deliberative complicity*. Но если я молчу и удерживаю это молчание как напряжённое, как результат моей неспособности действовать, как призыв к изменению, – тогда это *holding open*.

Когда я листаю новости о войне и иду дальше

Давайте быть совершенно конкретны. Я открываю ленту новостей. Я вижу, что 47 человек погибло в обстреле. Я вижу фото разрушенного дома. Я вижу фото матери, плачущей над телом ребёнка.

Это момент истины. Это момент, в который я должен выбрать. Не в смысле больших действий. В смысле того, как я отношусь к тому, что я видел.

Вариант 1: Я переключаюсь. Я вижу новость, и она не трогает меня. Я листаю дальше, как будто ничего не произошло. Это соучастие в забывании. Это активное выбор не видеть. Это – *complicity*.

Вариант 2: Я вижу новость, я её## обрабатываю как информацию. Она мне неприятна, но я понимаю, что я не могу это изменить. Я листаю дальше, потому что что ещё я могу сде-

лать? Я рационально признаю свою беспомощность. Это *deliberative complicity*. Я знаю, что я соучастник, но я остаюсь молчать.

Вариант 3: Я вижу новость. Я позволяю ей потрогать меня. Я сижу с этой болью. Я признаю, что я не могу это изменить в этот момент, но я удерживаю это как вопрос. Я не забываю. Я не притворяюсь, что это не произошло. Я удерживаю это молчание как активное – как признание обязательства перед теми, кто страдает. Это *holding open*.

Разница между этими тремя вариантами не в том, что я делаю физически. Во всех трёх случаях я листаю дальше. Разница в том, как я отношусь к своему листанию. Какой вес я придаю этому действию.

И вот в этом различении отношений скрывается вся философия третьего кризиса.

Серая зона как онтологическая необходимость

Давайте сейчас соберём всё вместе. Мы видели трёх молчаливых субъектов:

Первый – врач, который молчит о своей эмпатии, чтобы продолжать работать. Его молчание – это удержание в его теле, в его организме.

Второй – беженец, чьё молчание навязывается ему системой. Его молчание – это отсутствие голоса, отсутствие признания.

Третий – я, зритель, который молчит, видя молчание других. Мое молчание – это выбор того, как отнестись к собственному бессилию.

И что объединяет всех трёх? Объединяет их серая зона. Все они находятся в пространстве, в котором традиционная мораль не работает.

Врач – он не может быть ни полностью добрым (не отключая эмпатию, он не сможет спасти жизни), ни полностью нейтральным (отключение эмпатии разрушает его человечность).

Беженец – он не может быть ни полностью в системе (он исключён из политического порядка), ни полностью вне системы (его жизнь управляется государством).

Я, зритель – я не могу быть ни полностью активным в противостоянии системе (я беспомощен), ни полностью пассивным (я знаю о происходящем).

Все мы находимся в серой зоне. И серая зона – это не исключение в современном мире. Это норма. Это структурная особенность политического, экономического и личного порядка XXI века.

Примо Леви закончил размышления о серой зоне признанием, которое было горько и правдиво. Он сказал, что никто не может считать себя невинным. Даже жертвы системы несут ответственность за свои действия в пределах системы. И даже те, кто не встроены в систему, несут ответственность за то, видят ли они её или нет.

Эта ответственность не может быть разрешена. Она не может быть снята через хорошие дела или праведность. Она остаётся как хроническое состояние.

И вот здесь возникает четвёртый кризис, который будет последним в Части I. Это кризис того, что мы видим слишком много. Это кризис информации, доступности, постоянного присутствия. Это кризис, в котором информация о зле становится настолько обильной, что она перестаёт иметь значение.

Глава 4. Избыточное присутствие и truth fatigue

Livestreaming войны: невозможность не видеть

Представим любую дату. Где-то начинается война, и Интернет превращается в поле боя иного рода. В социальных сетях и месенджерах появляются видео. Видео из подвалов, в которых прячутся люди. Видео разрушений. Видео смерти. Видео, снятые на смартфон солдатами, которые находятся под обстрелом.

Но самое поразительное: эти видео появляются в *реальном времени*. Не через день, не через неделю. Через часы. Иногда через минуты. Война, которая происходит в конкретном месте в семь часов утра, видима для мира в восемь часов утра. Живая, неотредактированная, без фильтра профессионального журнализма.

Молодая женщина, стоящая на разрушенной улице города, записывает видео в прямом эфире социальной сети. Она показывает здание, которое было разрушено бомбёжкой два часа назад. Она рассказывает, что её сосед был в этом здании. Она не знает, жив ли он. И в то время как она говорит, её видео уже смотрят миллионы людей по всему миру.

Это не новость. Это не отчёт журналиста. Это – присутствие. Это – прямое, неотребованное присутствие при событии, которое происходит здесь и сейчас.

Зритель, который смотрит это видео в своей квартире в Москве, Париже или Нью-Йорке, находится в состоянии, которое сложно описать. Он не находится там. Он не может помочь. Он не может ничего сделать. Но он *видит*. И это видение – это форма присутствия, которая в истории психологии никогда не существовала.

Раньше, даже если ты хотел узнать о войне, ты должен был ждать. Ты должен был прочитать газету завтра утром. Ты должен был включить телевизор в определённое время. Была опосредованность. Была фильтрация. Была время между событием и твоим знанием о событии. Это время было буферной зоной, в которой твоя психика могла адаптироваться.

Теперь буферной зоны нет. События приходят прямо к тебе, без фильтра, без времени на адаптацию. И ты не можешь их не видеть. Даже если ты попытаешься не смотреть видео из войны, видео приходит к тебе через ленту друзей, через рекомендации, через уведомления.

Невозможность не видеть. Это ключевая фраза. Невозможность не присутствовать при событии через экран. Невозможность не знать, что происходит зло.

И в этой невозможности вырастает четвёртый и последний кризис первой части книги.

Truth fatigue: усталость от истины в эпоху постправды

Есть интересный парадокс в эпохе, которую мы называем «постправдой». Звучит, будто в эпоху постправды люди больше не верят истине. Но на самом деле, в эпоху постправды люди видят *слишком много истины*. Или, точнее, они видят слишком много материала, который претендует на то, чтобы быть истиной.

Каждый день мне говорят: это – правда, это – ложь. Это – факт, это – фейк. Это – по-настоящему произошло, это – манипуляция.

Видео с войны – это правда, но видео может быть отредактировано. Статистика инфляции – это факт, но факт может быть интерпретирован по-разному. Фото беженцев – это документация реальности, но фото может быть сделано для максимизации эмоционального эффекта.

Информационная среда XXI века – это не среда, в которой люди находятся в постправде, это среда, в которой люди находятся в *истине, которая никогда не является полной*. Каждый факт сопровождается сомнением. Каждое видео сопровождается вопросом: как я могу быть уверен, что это подлинное?

И вот в этом постоянном состоянии должны-ли-я-верить, должен-ли-я-сомневаться возникает то, что я называю *truth fatigue* – усталость от истины.

Усталость от истины – это не то же самое, что отрицание правды. Это не то, что люди просто перестали верить в объективную реальность. Это то, что люди устали от бремени постоянного различения истины и лжи. Они устали от необходимости быть критичными. Они устали от того, что ни один факт не может быть просто принят как факт.

Представьте себя на месте молодого человека в 2025 году. Каждый день в вашей ленте – несколько новостей о климатических катастрофах, о войнах, о экономических кризисах. Некоторые из этих новостей настоящие. Некоторые преувеличены. Некоторые совершенно выдуманы. Как вы можете знать, какая есть какая? Как вы можете постоянно находиться в состоянии критического анализа?

Ответ: вы не можете. Ваша психика не рассчитана на это. И вот она сдаётся. Она устаёт. Она начинает закрывать информацию не потому, что вы не верите в истину, а потому что вы устали от бремени определения, что является истиной.

Truth fatigue – это форма защиты. Это не отрицание реальности, это *закрытие перед реальностью*. Потому что реальность требует постоянного обновления, постоянного внимания, постоянного критического анализа. И это требование невыносимо.

Информационные войны: избыток событий и дефицит смысла

Но truth fatigue не просто результат перегрузки информацией. Это результат стратегии. Это результат того, что мы можем назвать *информационной войной*.

В информационной войне целью не является чтобы люди верили определённую ложь. Целью является чтобы люди переставали верить что-либо. Целью является нарушить саму возможность различения истины и лжи.

Российский политолог Владимир Сурков, который долгое время консультировал российское государство по политике информации, написал эссе, в котором он описал эту стратегию. Он назвал её «управление через неопределённость». Идея в том, что если вы можете создать достаточно противоречивой информации, если вы можете выпустить столько разных версий одного события, что никто не будет знать, какая из них истинна – тогда вы выигрываете. Потому что люди устанут от попытки разобраться и откажутся вообще пытаться.

Информационная война в цифровую эпоху работает через избыток. Избыток противоречивых новостей. Избыток видео с разных углов одного события. Избыток экспертных мнений, которые полностью друг другу противоречат. Избыток событий, которые требуют вашего внимания.

И в этом избытке происходит нечто странное: присутствие становится отсутствием. Вы видите так много информации о войне, что вы перестаёте видеть войну. Вы видите так много видео смерти, что вы перестаёте видеть смерть.

Это парадокс гиперинформированности. Чем больше информации, тем больше она стирается. Чем больше я знаю, тем менее я знаю.

Парадокс: избыток присутствия порождает новое отсутствие

Давайте вернёмся к метафизике присутствия, которую мы обсуждали в Прологе. Западная философия учила нас, что быть присутствующим – это добро. Быть полностью присутствующим перед реальностью, перед другим, перед истиной – это идеал. Это путь к подлинности, к честности, к моральности.

Но XXI век показал нам что-то парадоксальное: избыток присутствия порождает новое отсутствие.

Когда я смотрю слишком много видео смерти, я перестаю видеть смерть. Когда я получаю слишком много новостей о кризисах, я перестаю слышать кризисы. Когда информация о зле приходит ко мне постоянно, в режиме 24/7, я начинаю не видеть это зло.

Это не механизм психики, который помогает нам. Это механизм, который разрушает наше восприятие реальности. Это то, что Джонатан Крэри называет *отключением внимания*. Когда сигналов слишком много, мозг выключает способность их обрабатывать.

И вот в этот момент появляется парадокс, который будет центром второй части нашей книги.

Метафизика присутствия предполагала, что если я полностью присутствую, если я вижу всю реальность, если я признаю все голоса – то я буду нравственным человеком. Но реальность показывает обратное. Полное присутствие перед всеми голосами, всеми кризисами, всеми смертями – это не путь к нравственности. Это путь к потере способности вообще что-либо видеть.

Парадокс можно сформулировать так: чтобы быть способным видеть, я должен отключить видение определённых вещей. Чтобы быть присутствующим перед тем, что важно, я должен быть отсутствующим перед чем-то другим. Чтобы услышать один голос, я должен не слышать другие голоса.

Это не может быть решено методами старой метафизики. Потому что старая метафизика говорит: видите всё, слышите всех, будьте открыты всему. Но это требование – видеть всё и слышать всех – это требование, которое убивает способность видеть и слышать.

Нам нужна новая метафизика. Метафизика, которая признаёт, что нельзя быть полностью присутствующим. Метафизика, которая признаёт, что некоторый вид отсутствия, некоторый вид выборочного видения, некоторый вид активного не-видения – может быть необходимым, чтобы оставаться нравственным существом.

Почему психология, этика и политика недостаточны

Давайте попробуем разрешить четвёртый кризис, используя традиционные инструменты. Начнём с психологии.

Психолог скажет: *truth fatigue* – это результат перегрузки информацией. Решение: ограничить потребление информации. Отключить уведомления. Снизить время в социальных сетях. Практиковать осознанность. Это здравый совет, и отчасти это правда.

Но это решение работает только на индивидуальном уровне. Если я лично отключу уведомления, я почувствую себя лучше. Но это не решает проблему. Потому что структура мира остаётся той же. Войны продолжаются. Кризисы продолжаются. Информация продолжает течь. Моя личная отрешённость не меняет структуру реальности.

Теперь обратимся к этике. Этик скажет: *truth fatigue* – это результат потери нравственной ответственности. Решение: восстановить нравственное сознание. Помните о важности истины. Помните о ценности каждой жизни. Будьте более добрыми, более внимательными, более этичными.

Это также здравый совет, и отчасти это правда. Но это требование – быть более нравственным – это требование, которое усиливает саму проблему. Потому что если я уже устал от истины, требование быть более чувствительным к истине – это требование увеличить мою нагрузку. Это требование, которое может привести к полному краху.

Наконец, обратимся к политике. Политик скажет: *truth fatigue* – это результат манипуляции информацией. Решение: контролировать информацию, наказывать дезинформацию, создавать истинные каналы коммуникации.

Но это решение имеет собственную проблему. Кто решает, что является истинной информацией, а что – дезинформацией? Кто решает, какие каналы коммуникации являются

«истинными»? И не становимся ли мы ещё ближе к тоталитаризму, если даём государству власть решать, какая информация может быть передана?

Все три подхода – психологический, этический и политический – они все предполагают, что проблема в содержании информации или в нашем отношении к информации. Но они не видят, что проблема может быть более глубокой. Проблема может быть в самой *структуре присутствия*.

Может быть, дело не в том, что мы получаем слишком много плохой информации. Может быть, дело в том, что мы *требуем* быть полностью присутствующими, видеть всё, знать всё, реагировать на всё. И это требование к полному присутствию – это то, что разрушает нас.

Нужда в новой онтологии: переход к удержанию

Здесь мы приходим к пороговому моменту. Мы прошли через четыре кризиса Части I:

Первый кризис был о чувстве. Врач должен отключить эмпатию, чтобы работать. Это показало нам, что полное, непрерывное присутствие перед чужим страданием неустойчиво.

Второй кризис был о существовании. Беженец существует в промежутке между включением и исключением. Это показало нам, что политический порядок структурирован через исключение, и это исключение создаёт *bare life* – жизнь без гарантий.

Третий кризис был об ответственности. Функционер молчит, видя несправедливость. Зритель молчит, видя войну. Это показало нам, что серая зона – это не исключение, это норма. Что соучастие – это неизбежная структура современного мира.

Четвёртый кризис был о присутствии. Мы видим слишком много, слышим слишком много, присутствуем слишком много. И в этом избытке присутствия наша способность видеть, слышать и присутствовать отключается. Это показало нам парадокс: полное присутствие порождает полное отсутствие.

Все четыре кризиса имеют одну общую черту. Все они показывают, что метафизика присутствия больше не работает. Все они показывают, что требование быть полностью присутствующим, видимым, открытым – это требование, которое разрушает психику, политический порядок, мораль и само восприятие реальности.

И вот это осознание приводит нас к радикальному выводу. Нам нужна новая онтология. Нам нужен новый способ думать о том, что значит быть. Нам нужна метафизика, которая не центрирована вокруг присутствия.

Эта метафизика – метафизика удержания – это то, к чему мы перейдём во второй части.

Удержание – это не отсутствие присутствия. Удержание – это активный, напряженный баланс между присутствием и отсутствием. Это способность быть здесь, но не полностью. Быть видимым, но не обнажённым. Быть открытым, но не уязвимым перед всем.

Врач может удерживать свою эмпатию – не отключая её полностью, но активно воздерживаясь от полного эмоционального ответа. Это позволяет ему оставаться человеком, при этом оставаясь способным действовать.

Беженец удерживается государством в промежутке. Но он может также активно удерживать себя в промежутке – удерживать своё достоинство, свою идентичность, свой голос, несмотря на попытку государства это стереть.

Функционер может сознательно удерживать своё молчание. Не как пассивное соучастие, а как активное признание своей беспомощности перед системой, но отказ забыть о том, что система несправедлива.

Зритель может удерживать своё внимание. Он может выборочно видеть, вместо того чтобы пытаться видеть всё. Он может активно отключать некоторые каналы информации, чтобы остаться способным видеть и слышать то, что действительно важно.

Это не решение в старом смысле. Это не разрешение кризисов. Это признание того, что кризисы не могут быть разрешены. Они могут быть только *удержаны*. Они могут быть только перенесены с большим осознанием, с большей интенциональностью, с большей честностью.

И в этом переходе от попытки разрешить кризис к попытке его удержать – в этом переходе скрывается вся трансформация, которая происходит во второй части нашей книги.

Но прежде чем мы сможем говорить об удержании, нам нужно понять, что такое удержание. Нам нужны три его измерения. Нам нужно понять, как удержание работает в промежутке. Нам нужно увидеть, как удержание отличается от обоснования.

Все это – задача Части II, которая начинается с главы о трёх измерениях удержания.

ЧАСТЬ II. КОНЦЕПТ: МЕТАФИЗИКА УДЕРЖАНИЯ

Глава 5. Три измерения удержания

Почему «удержание», а не только «молчание»: концептуальное обоснование

В первой части мы видели молчания. Молчание врача. Молчание беженца. Молчание зрителя. Молчание функционера. Молчания разных типов, в разных контекстах, с разными причинами.

Но если мы будем говорить только о молчании, мы упустим самое важное. Молчание – это слишком узкое слово. Оно предполагает только отсутствие голоса, только отсутствие речи. Но происходящее в первой части книги – это не просто отсутствие речи. Это активный процесс. Это удержание.

Разница между молчанием и удержанием может быть объяснена через простой пример. Предположим, я знаю, что произойдёт несправедливость. Я знаю, что нужно говорить. Но я молчу.

Молчание может быть:

- Пассивным (я не знаю, что сказать)
- Активным отказом (я знаю, что сказать, но я не говорю, потому что боюсь)
- Активным удержанием (я знаю, что сказать, но я сознательно воздерживаюсь, потому что я понимаю, что говорить было бы ошибкой в этот момент)

Только последнее – это удержание.

Удержание – это намеренное действие отказа действовать. Это не отсутствие, это присутствие, которое воздерживается. Это не нигилизм, это активная практика. Это не поражение, это особая форма сопротивления.

Когда мы говорим об удержании, мы говорим о чём-то, что требует огромного напряжения. Это не расслабленное состояние, это напряжённое состояние. Как когда ты держишь предмет в руке – ты должен постоянно прикладывать усилие, иначе предмет упадёт.

Удержание означает, что я активно, сознательно не-действую, при этом оставаясь напряжённым. Я не отвлекаюсь, не забываю, не расслабляюсь. Я остаюсь сосредоточенным на том, чего я не делаю, и на том, почему я это не делаю.

И вот это напряжённое состояние активного не-действия – это новая онтологическая категория, которая не была названа в западной философии. Этому состоянию нет названия, потому что метафизика присутствия всегда предполагала, что действие – это хорошо, а не-действие – это плохо. Отсутствие действия рассматривалось как пассивность, как слабость.

Но в XXI веке, в мире избыточного присутствия и информации, в мире, где действие часто приводит к ещё большему разрушению, не-действие может быть самым радикальным действием. Удержание может быть самым мощным сопротивлением.

И вот почему мы используем слово «удержание» вместо «молчание». Потому что молчание говорит только о том, что мы не говорим. Удержание говорит о том, как мы живём с тем, что мы не говорим.

Self-restraint (самоограничение): активное воздержание от импульса

Начнём с первого измерения удержания. Мы назовём его *self-restraint* – самоограничение или, более точно, активное воздержание от импульса.

Self-restraint – это способность чувствовать импульс и не действовать на основе этого импульса. Это способность находиться в момент между импульсом и действием и оставаться в этом промежутке.

Примеры:

– Я рассержен. Я хочу ударить. Но я не бью. Я удерживаю импульс к насилию.

– Я страдаю. Я хочу кричать. Но я не кричу. Я удерживаю крик в своём теле.

– Я вижу несправедливость. Я хочу немедленно возразить. Но я молчу. Я удерживаю возмущение.

Но это не просто подавление импульса. Подавление – это неосознанное отключение. Подавленный гнев может вернуться позже в виде панической атаки или невроза. Self-restraint – это осознанное удержание. Я вижу импульс, я признаю его как реальный, но я сознательно не действую на основе него.

Визель: десять лет молчания перед написанием «Ночи»

Зальман Визель был узником Освенцима. Когда лагерь был освобожден, его первый импульс был рассказать. Рассказать миру об ужасе. Рассказать о смерти его отца, его матери, его семьи. Кричать, чтобы его услышали.

Но Визель не рассказал. Он молчал. Десять лет молчания.

Это молчание было не подавлением. Визель активно удерживал импульс рассказать. Он держал историю внутри себя, в напряженном состоянии, ожидая нужного момента.

Когда его позже спросили, почему он молчал, Визель ответил, что слова не существуют для того, чтобы выразить то, что произошло. Или, точнее, если бы он рассказал сразу, слова бы редуцировали опыт. Они бы упростили его. Они бы превратили невыражаемое в выраженное, и в этом преобразовании была бы потеря.

Поэтому Визель удерживал молчание. Он позволял молчанию быть пространством, в котором опыт остаётся неокончательным. Он позволял молчанию быть формой памяти, которая более верна действительности, чем слова когда-либо могли бы быть.

Это был *not* слепой импульс. Это был осознанный выбор остаться в промежутке между опытом и его артикуляцией.

И через десять лет, когда Визель наконец начал писать, его слова носили совсем другой характер. Они были написаны не из импульса рассказать, а из необходимости свидетельствовать. Книга «Ночь» – это не просто рассказ о войне. Это свидетельство, которое сохранило силу молчания внутри себя. Это книга, которая говорит, но говорит способом, который уважает невыраженное.

Арендт: удержание суждения на процессе Эйхмана

Ханна Арендт была назначена журналисткой для освещения процесса над Адольфом Эйхманом в Иерусалиме в 1961 году. Её задача была простой: задокументировать процесс, написать статьи о преступлениях нацистов, подтвердить моральный приговор.

Но Арендт поступила иначе. Она отправилась в Израиль. Она слушала процесс. Она наблюдала Эйхмана. И вместо того чтобы поспешить к выводам, она удерживала суждение.

Она видела человека, который казался не монстром, а обычным человеком. Человеком, который просто выполнял свою работу. Человеком, который не казался полным ненависти или идеологической убежденности.

Её первый импульс был осудить его. Просто. Ясно. Это был нацист, он убил миллионы, его следует казнить. Конец.

Но Арендт удерживала этот импульс. Она молчала. Она смотрела. Она слушала. Она позволяла себе быть озадаченной. Она позволяла себе не понимать.

И через месяцы этого удержания суждения она пришла к выводу, который был более пронизательным, чем любой поспешный приговор. Она пришла к идее о *банальности зла* – что самое ужасное зло часто совершается не демонами, а обычными людьми, которые просто выполняют свою работу.

Это суждение не было открытием новой истины. Но это было суждение, которое было достойно Эйхмана и его преступлений. Это было суждение, которое возникло из удержания суждения, а не из поспешного его вынесения.

Медитативная пауза: не отвечать сразу

В буддийской медитации есть практика, которая называется *пауза* или *промежуток*. Она состоит в простом действии: между импульсом и ответом, вставить паузу.

Человек обижает тебя. Твой импульс – ответить обидой или защититься. Но ты делаешь паузу. Ты делаешь вдох. Ты позволяешь себе почувствовать обиду, но ты не сразу реагируешь.

В этой паузе, в этом промежутке, может произойти трансформация. Может быть, в момент паузы ты видишь, что обида появилась из страданий другого человека. Может быть, в этой паузе ты находишь ответ, который менее разрушителен.

Или может быть, ты остаешься в паузе, и пауза становится твоим ответом. Ты молчишь, но это молчание несет в себе доброту, понимание, отказ продолжать цикл обиды и мести.

Это не подавление. Это активное удержание. Это практика жизни в промежутке между стимулом и ответом.

Виктор Франкл, психиатр и выживший из концентрационного лагеря, писал об этом: «Между стимулом и ответом есть пространство. В этом пространстве находится наша свобода и наша способность выбирать ответ.»

Свобода находится не в импульсе, не в автоматической реакции. Свобода находится в паузе. Свобода находится в удержании.

Retention (сохранение): удержание во времени, в теле, в культуре

Второе измерение удержания совсем другое. Если *self-restraint* – это удержание в настоящем, удержание импульса в момент его возникновения, то *retention* – это удержание во времени. Это удержание того, что прошло, в теле настоящего.

Retention – это не память в традиционном смысле. Память – это когда я припоминаю событие. Я вспоминаю то, что произошло, я реконструирую его в сознании. Retention – это что-то другое. Retention – это когда событие хранится в теле, в его клеточной памяти, независимо от того, припоминаю ли я это или нет.

Примеры:

– Я пережил насилие. Годы прошли. Я как будто забыл. Но когда я слышу внезапный звук, мое тело прыгает. Мое тело помнит.

– Я пережил потерю. Я научился жить без этого человека. Но когда я вижу его фото, мое горло сжимается. Мое тело удерживает скорбь.

– Я слышал историю о несправедливости. Годы прошли. Я не думаю об этом сознательно. Но моё отношение к миру изменилось. Событие удерживается в моих предположениях, в моём способе видения.

Retention – это форма памяти, которая не требует сознательного припоминания. Это память, которая живёт в теле, в привычках, в аффектах, в способе существования.

Кэти Карут: травма как неинтегрированный опыт

Кэти Карут – американская литературовед и теоретик травмы – провела свою карьеру на изучении того, как травма хранится в психике и теле.

Её основное открытие: травма – это событие, которое не может быть полностью интегрировано в психику. Обычное событие происходит, мы его обрабатываем, мы его интегрируем в нашу историю, в наше понимание себя. Оно становится частью нашей памяти.

Но травма – это событие, которое слишком интенсивно, слишком ужасно, чтобы быть обработанным в момент его происхождения. Мозг включает диссоциацию – он отключает сознательное восприятие, чтобы позволить телу выжить. И тогда событие остаётся не инте-

грированным. Оно хранится не как память, которую я припоминаю, но как что-то, что живёт во мне.

Карут приводит пример мужчины, который пережил почти смертельную автомобильную аварию. Годы прошли. Он как будто забыл об этом. Но когда он был дома, безопасно, и слышал звук закрывающейся двери машины на улице – он вдруг оказался в момент аварии. Он переживал это. Его тело отвечало, как будто авария происходила сейчас.

Это был не выбор. Это была не память, которую он мог контролировать. Это была retention – удержание события в теле. Событие оставалось не интегрированным, живым, напряженным, готовым вернуться в любой момент.

Карут показывает, что для травмированного человека настоящее всегда потенциально наполнено прошлым. Настоящее удерживает прошлое. И это удержание – это не что-то, что можно просто «исцелить» и забыть. Это структурное условие травмированного существования.

Бессел ван дер Колк: тело помнит всё

Бессел ван дер Колк – нейробиолог и специалист по травме – потратил двадцать лет на изучение того, как мозг и тело хранят травматические события.

Его основной вывод: тело помнит всё. Даже если сознание забывает, тело помнит. И оно помнит не как информацию, которую можно активировать и деактивировать. Оно помнит как физиологическое состояние.

Ван дер Колк описывает пациентку, которая была сексуально ассоциирована в детстве. Годы психотерапии помогли ей обработать событие на уровне сознания. Она понимала то, что произошло. Она работала с чувствами. Но когда её сексуальный партнёр ночью неожиданно коснулся её, её тело вскочило с кровати, и она была в полной панике.

Её сознание знало, что она в безопасности. Но её тело знало то, что произошло двадцать лет назад. Её тело удерживало травму в мышцах, в нейронных путях, в гормональных реакциях.

Ван дер Колк показывает, что традиционная психотерапия, которая работает на уровне сознания, может быть недостаточной. Потому что тело удерживает то, что сознание уже обработало. Исцеление требует работать не только с сознанием, но и с телом – с его памятью, с его способностью удерживать.

Это retention в его наиболее физическом, наиболее телесном проявлении.

Пьер Нора: места памяти как культурное удержание

Но retention не ограничивается индивидуальным телом. Retention также работает на культурном уровне.

Пьер Нора – французский историк – предложил концепт *lieux de mémoire* – «места памяти». Это места, события, символы, которые удерживают коллективную память общества.

Примеры:

- Памятник Холокосту удерживает память о Холокосте в теле культуры
- Национальные праздники удерживают национальную идентичность
- Музеи удерживают историю в физическом пространстве
- Архивы удерживают документацию в материальной форме

Нора различает память (*live memory*) и историю (*academic recollection*). Память живая, она передается через тело, через практику, через обычаи. История – это попытка реконструировать память как объективное знание.

Но места памяти – они находятся в промежутке между памятью и историей. Они материальны, как история, но они живы, как память. Они удерживают прошлое в настоящем, не позволяя ему полностью стать историей.

Когда я посещаю памятник, я не просто учусь истории. Я участвую в практике культурного удержания. Моё тело находится в месте, которое было отмечено историей. Мой ум встречается с коллективной памятью.

Это культурная retention. Это удержание прошлого в настоящем через материальные и социальные практики.

Holding open (удерживание открытым): не закрывать вопрос преждевременно

Третье измерение удержания – это самое странное и самое философское. Мы назовём его *holding open* – удерживание открытым. Это удержание вопроса, возможности, другого в состоянии открытости, несмотря на давление закрыть его.

Holding open – это активный отказ дать окончательный ответ. Это активный отказ полностью присвоить другого, определить его, закончить его. Это жизнь с неопределённостью, с незавершённостью.

Примеры:

– Я встречаюсь с человеком, который я считаю врагом. Мой импульс – полностью его определить, полностью его осудить. Но я удерживаю суждение открытым. Я допускаю, что я не знаю, кто он полностью.

– Я встречаюсь с вопросом, который кажется неразрешимым. Мой импульс – или принять одно решение, или отказаться от вопроса полностью. Но я удерживаю вопрос открытым. Я живу с неопределённостью.

– Я встречаюсь с ситуацией, которая требует от меня действовать, но я не знаю, какое действие было бы правильным. Мой импульс – действовать немедленно, чтобы разрешить неопределённость. Но я удерживаю ситуацию открытой. Я жду. Я смотрю. Я допускаю, что может быть не одного «правильного» ответа.

Holding open – это может быть самой трудной формой удержания. Потому что мозг хочет закрытия. Мозг хочет определённости, завершённости, ясности. Мозг достигает покоя только через закрытие.

Но holding open требует жить без этого покоя. Это требует жить в напряженном состоянии открытости.

Левинас: лицо другого как неприсвояемое

Эммануэль Левинас – французский философ еврейского происхождения, который пережил Вторую мировую войну – построил всю свою философию на идее, что другой человек не может быть полностью присвоен, полностью понят, полностью определён.

Когда я встречаю другого, я встречаю лицо. Лицо – это не объект, который я могу изучить, разложить, полностью понять. Лицо – это что-то, что обращается ко мне, что требует от меня ответа. Лицо говорит мне: не убивай, не предавай, не забывай о моей особенности.

Лицо другого держит меня в ответственности. И эта ответственность – она не может быть разрешена. Я никогда не могу полностью выполнить свою ответственность перед другим. Я никогда не могу полностью понять его нужду. Но я должен оставаться в этой ответственности. Я должен удерживать её открытой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.